

Дорогие темы и дела

Замечательный московский библиотекарь и мыслитель вовсе не был изолирован от социальной жизни, как это нередко казалось, хотя бы тому же Флоровскому. Он не только по-своему, необычно реагирует на литературно-художественные, исторические, общественные события своего времени, но и сам стремится в них участвовать, чуть не повернуть их в неожиданную, открывающую новые дали сторону. Все его выходы в свет с учением общего дела (всегда анонимно, под псевдонимом, а то и под чужим именем) привязывались к поводам конкретным, даже злободневным: сближение с Францией, вопрос международного книжного обмена, засуха и голод, предстоящий конгресс мира, дебаты о разоружении и т. д. Его статья «Разоружение», напечатанная в «Новом времени» 14 октября 1898 года, где он выступил с проектом превращения армии в естествоиспытательную силу, получила немалый отклик в русской печати и заинтересовала издателя журнала «Review of Reviews», английского пацифиста В. Стэда, кому Кожевников отправил свой перевод этой федоровской статьи на французский язык.

Правда, склонение его интересов, луч внимания чаще всего направлялся куда-то к периферии, к тому, что ускользало от господствующего внимания и громкого разговора, к малому и незаметному, я бы сказала, к такого рода пока еще не написанной истории, которая, возможно, выстроится, если мир сделает для себя новый фундаментальный выбор, провозвестником которого был Федоров. Ведь не сразу же, на следующий день утвердила себя, скажем, особая евангельская история, повествующая не о государственных интригах, переворотах, войнах, реформах, а о рыбаках, оставивших свой промысел, о встрече у колодца, о покаявшейся блуднице, о поцелуе в ночном саду, об умывании рук и пустом гробе...

Как вы думаете, в каком деле русский народ наиболее глубоко проявил свою самобытность и оставил залогом на будущее? Вы дадите несколько ответов, но все они будут из первой, утвердившейся во всеобщем сознании Истории. А Федоров назовет из той, которой еще нет: обыденные храмы. Какие две великие фигуры, одна религиозная, другая светская, научная, осеняют наше будущее призвание? И если первую – Сергия Радонежского (и с ней – Серафима Саровского) вы наверняка назовете, то сама идея соединения их с какой-то личностью из мира естественнонаучных поисков вам покажется если не кощунственной, то безвкусной, а уж самого человека ни за что не угадаете: Василий Назарович Каразин¹. Кто такой? Не Ломоносов, не Менделеев... А что это за «великое событие конца сентября и 1 октября, хотя и совершившееся в захолустье, но имеющее все основание стать событием всемирно-историческим» (II, 366)? Если даже первым движением вашим и будет заглянуть в хорошее историческое пособие, то, сообразив про «захолустье», вы и вовсе махнете рукой на вопрошающего чудака. А оказывается, речь идет о детях (совсем новозаветная притча!) русско-мордовского села Качима Городищенского уезда, вырастающих, сами того не ведая, в «могучих противников» Льва Толстого (как евангельское дитя стоит против «умных и разумных», «совопросников века сего»).

Может быть, впервые Федоров провел так искренне и по-настоящему тотально личностный принцип, включающий равноценность великого и малого (особенно убедительный, поскольку речь идет о будущем восстановлении и преображении каждого). А поскольку в утвердившейся логике культуры прославляются и духовно увековечиваются только выдающиеся, а остальные идут в безличную и безразличную труху бытия, сливаясь в анонимной массе современников великих, жителей какой-то

¹ В. Н. Каразин (1773–1842) – ученый и общественный деятель, основатель Харьковского университета. В его научном наследии наибольшее значение имеют статьи по метеорологии (см.: *Каразин В.Н. Сочинения, письма и бумаги.* Харьков, 1910). В Каразине Федоров видел человека, дерзнувшего перейти от пассивного предсказания метеорологических явлений к их разумной регуляции, считая его не просто метеоро-*логом*, а первым метеоро-*ургом*.

эпохи, века и страны, то Федоров каждый раз берет сторону последних, становится их голосом и ходатаем. Оппозиция столица – провинция тоже стоит в этом ряду, всё – столица, всё о столице, она – голова, а провинция со всеми ее городами и деревнями – словно подсобные, призванные к самоотвержению и темной доле члены. Редко что так увлекало Николая Федоровича, как идея внести свет самосознания и самоисследования в существование именно провинции, окраин, «дальних, *захолустных мест*» (Ш, 9), буквально каждого самого забвенного медвежьего угла. Любое поселение – историческая личность, призванная осознать свою долю участия в жизни отечества и – шире – общемировой. Сбирать, изучать, сохранять все следы родного близлежащего прошлого, историю своего края, своих отцов и дедов надо так, чтобы вставали вначале в памяти их живые единственные образы.

Где бы сам Федоров, пусть недолго, ни жил, с каким бы местом ни был связан, он тут же разворачивал деятельность такого рода. В его писаниях проекты «отечествоведения» были целостны и грандиозны, но только мышления, только прекрасных идей для Николая Федоровича было удушающе мало, его неудержимо влекло тут же и немедленно делать пусть первые, самые скромные пробы, осуществлять хотя бы дальние прообразы чаемых учреждений. (Вообще Федоров был как-то шокирующе непривычно устроен для «культурного» человека: ему почему-то надо было *делать метафизику*, осуществлять веру, а не только отсылать все это в будущее, когда и гениальное, спасительное *безумство* поймут, и время найдут, и попытаются... В это же светлое будущее отсылали его все, и Лев Толстой, и Владимир Соловьев в том числе.) Так, в 1873 г. Н. П. Петерсон, следуя мысли Федорова, задумал «устроить при школах Керенского уезда метеорологические станции, чтобы учителей и учеников обратить в исследователей той местности, где находится школа»², и сам создал такую станцию при Керенской публичной библиотеке. При библиотеке кроме того помещалась и церковно-приходская школа, в которой он был учителем, и небольшая приходская больница, – так чтобы непосредственно подвинуть учителей и учеников от пассивного преподавания и усвоения готовых знаний к самостоятельному исследованию. Советы по устройению этих пусть еще малых инициатив Николай Федорович не раз давал Петерсону в своих письмах из Москвы. Когда в 1894 г. Николай Павлович перебрался в Воронеж, его московский друг и учитель подолгу бывал в этом городе, здесь он стал идейным вдохновителем организации при Воронежском губернском музее ежегодных тематических выставок, посвященных особо важным событиям года, что позднее вошли в традицию этого музея³. Когда же Петерсон обосновывается в Асхабаде, Федоров приезжает к нему более чем на полгода, изучает Туркестанский край, совершает путешествие к предгорьям Памира, в газете «Асхабад» высказывает свои мысли об исследовании местной географии и истории, небесных явлений, о регуляции природы этого края (см. подробнее главу «Асхабадская история»).

Много толковали в XIX веке в России, чуть не все столетие, с подъема 1812 года, о народности, искали определить ее дух, ее назначение, обращались к истории, шли в низы... И Федоров давал свой ответ, исходя из фактов почти незамеченных, из не знакомого миром масштаба: малое возвеличится, великое умалится! Такое малое «горчиное зерно» глубиннейшей самобытности и надежды он нашел в обыденных храмах: «...обычай этот есть явление самородное и притом самое характерное, заключающее в себе самые существенные черты нашей народности; словом, *вопрос о храмах обыденных есть вопрос о самой народности русской, о духе народном и об его проявлениях в делах*

² Петерсон Н.П. Н. Ф. Федоров и его «Философия общего дела» // НИОР РГБ, ф. 657, к. 5, ед. хр. 7, л. 8 об.

³ О жизни и деятельности Н. Ф. Федорова в Воронеже см.: Н. Ф. Федоров и его воронежское окружение (1894–1901). Статьи, письма, воспоминания, хроника пребывания в Воронеже. (Сост.: Акинъшин А.Н., Ласунский О.Г.). Воронеж, 1998.

хозяйственных, государственных и церковных – в прошедшем, а также и о предполагаемом проявлении этого духа в будущем...» (III, 7).

Что же это за необыкновенное явление? Оказывается, в Древней Руси, преимущественно в северных ее областях, в большей чистоте хранивших дух нации, существовал обычай: всем миром, в невероятно короткий срок (за сутки, иногда двое-трое) возвести целый храм – от первого камня фундамента до освящения и службы. Столь единодушный порыв, фантастический рабочий подъем оказывался возможным в экстремальной ситуации, когда всем грозило или уже разворачивало свое смертоносное дело какое-нибудь страшное естественное зло (голод, чума, холера). Бывали и случаи, когда на такой суточный священный аврал подвигало благодарение за только что свершившееся избавление от эпидемического или вражеского нашествия.

В общине, артели, соборе не раз видели особые залогии народной психологии, но сколь неопределенно и общо отвечали при этом на вопрос: для чего же, для какого дела и цели послужит это качество единения? Для Федорова указующий прообраз этой цели, ее символическое выражение – обыденные храмы, «не памятники лишь единодушия и согласия, но и предвестники общего дела спасения, или всеобщего воскрешения» (III, 8).

Как подходит к такому радикальному выводу мыслитель? Обыденные храмы возводят в «священное дело» те порывы добровольного труда, каким на Руси всегда были помочь и толока⁴, создававшие у участников настроение радостного подъема, братского чувства, открытости миру. Такая работа и даримые ею ощущения словно таили в себе Платоново припоминание совсем другого мира, несли в себе дальние зарницы бескорыстного, слиянного с творчеством в добре и красоте *эдемского* труда. Само качество добровольности для Федорова – главный признак высшего уклада бытия, «полная добровольность есть выражение совершеннолетия». Постоянное расширение области сверхурочного, сверхслужебного, сверхобязательного труда, пестование в себе и в целых коллективах этого добровольия значит возвращение ростков нового порядка бытия. Потому-то для русского мыслителя вопрос о помочах и толоках, об обыденных храмах «*есть вопрос самый существенный и коренной*», который дает другое направление и всей философии, «соединяет философию теоретическую и практическую в одну, а философию проективную» (III, 9).

К концу XIX века уже внедрились в умы идеи социологов и криминалистов касательно таких стихийных сборищ людей, которые попросту называются толпой. Француз Г. Гард, основываясь на своей теории подражания, и итальянец С. Сигеле, развивавший эту теорию с множеством научных, философских и эмпирических выкладок, толковали о резком падении в массе, в коллективе и особенно в толпе нравственного и умственного уровня каждого входящего в них индивида, о повальном заражении стадным чувством, о развязывании низменных инстинктов, о своего рода психической заразе, мгновенно охватывающей всех. Федоров был знаком с теорией «преступной толпы»⁵, и ему важно было доказать, что наряду с примерами действительно растлевающего влияния

⁴ Помочью – на севере и востоке, толокóй – на юге называлась однодневная безвозмездная работа всем миром (обычно полагалось лишь угощение). Так нуждающаяся крестьянская семья с помощью односельчан дружно и весело, одним махом, можно сказать, накашивала себе на год сена, убирала урожай, молотила зерно, строилась... «Угощение при этом есть выражение благодарности, есть как бы евхаристия, ибо работа толочан и помочан, т.е. братская, мирская помочь, завершается братскою трапезою, которая напоминает то, что называлось *aganэ*» (III, 10). В помочах и толоках Федоров видит любимое им превозможение юридико-экономических отношений, «явление чисто нравственного порядка» (III, 10). Как и то, что добровольный братский труд приходился обычно на выходные и праздники, являя для мыслителя своеобразное народное отвержение *субботства*, ненавистного им *покоя* и *бездеятельности*.

⁵ Работа Г. Гарда «Преступная толпа» («La foule criminelle», рус. пер.: «Преступления толпы», Казань, 1893) была издана в Париже в 1892 году; под таким же названием в том же году, но несколько раньше, вышла на французском языке книга С. Сигеле (в итальянском оригинале: «La delinquenza settaria») «La foule criminelle. Essai de psychologie collective» («Преступная толпа. Опыт коллективной психологии»). Холера 1892 года в России привела к ряду массовых беспорядков – это и привлекло тогда внимание русской журналистики к западным взглядам на феномен толпы (подробнее см.: III, 609–611).

толпы на личность существовали образцы и обратного: облагораживающего воздействия массы, утопления эгоистических чувств, высвобождения в едином подъеме огромных созидательных энергий. Надо было, если хотите, реабилитировать коллектив, опереться на реальность таких черт коллективного действия, которые давали бы надежду на саму возможность *общего дела*, найти конкретный случай *святой* толпы, реального многоединства, спаянного великим чувством и заданием.

«Если храмы, как внешнее выражение религии, суть произведения существ смертных, то обыденные храмы суть произведения чрезвычайной смертности, когда утраты учащаются и смертность чувствуется особенно живо; известно, что большинство обыденных церквей было построено во время моровых поветрий, и некоторые из этих церквей даже назывались моровыми» (III, 15–16). Другие получали название «голодовых» и являли собой такое же, как и первые, архитектурное моление: отвести стихийные силы природы, грозящие смертью. Были еще и «мировые, или умиротворительные» – те прославляли избавление от брани, от войны, от убийства... Федоров особо подчеркивает, что первый христианский храм на Руси был посвящен Илье Пророку, низводящему на землю дождь и «закрывающему небо», что было жизненно важно для такой глубинно континентальной страны, как Россия. Но, помимо этого, именно Илия, как и его ученик, пророк Елисей, были единственными пророками-воскресителями. И тут Николай Федорович подводит нас к главному в понимании символического смысла построения обыденных храмов. Христос говорил о Себе как о храме: «Разрушьте храм сей и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2:19). Сам православный храм есть известное подобие человеческого тела как микрокосма. И в идеальной картине обыденного храмостроительства, воссоздаемой мыслителем, постройка обыденных храмов совпадает со днями крестной смерти и воскресения Спасителя: начинается в пятницу вечером и оканчивается к полуночи с субботы на воскресенье (впрочем, такие случаи и бывали). «Именно однодневность, или самый короткий срок при построении храма, и производила наибольшее согласие наибольшего числа *в одном общем* священном деле, т. е. воспроизводила, хотя и на короткий срок, то *“множество”*, которое имело одно сердце и одну душу (Деян., IV, 32)» (III, 23). Так однодневное (трехдневное) созидание храма согласным любовным действием человеческого многоединства становилось для Федорова «прототипом предстоящего им искупительного дела» – воссоздания храмов-тел умерших отцов и предков. «Жить *вкупе* есть и добро и красно, этично и эстетично; а труд *вкупе* и в деле Божиим *еще выше*, еще величавее, еще прекраснее. Это и будет верховным благом (*bonum supremum*), когда труд станет делом всех живущих без всяких исключений, делом спасения всех умерших и тоже без всяких исключений» (III, 24).

Существовали для Николая Федоровича некоторые избранные лица, дела, события, происшедшие при его жизни или часто задолго до, которые высекали из него мысль глубокую, восторг почти поэтический, будоражили воображение, проступали на тайном сердечном полотне зримыми картинами. Как будто сам он был их созерцателем и участником. Ему хотелось хотя бы художественно их запечатлеть, раз нельзя пока реально вернуть, возобновить в бытии. Случалось, он обращался к мастерам слова и кисти, пытаясь вдохнуть в них свое видение и видения, подвигнуть на образное воплощение. Да и сам вдумывался и вчувствовался в избранные им религиозные, исторические сюжеты и места. Среди таких метасобытий священного предания его души и было возведение обыденного храма, особенно эстетическая, высекающая ликование, почти *чудесная* сторона действия: «Дело сделано так же скоро, как только сказка сказывается, за одну ночь выросло целое здание; восходящее солнце увидало то, чего не видало заходящее. Было в этом что-то чудесное; это чудесное и вызывало восторг...» (III, 43). Только решили, дали обет, все вместе взялись – и вот уже готово; некое «Рече и бысть!». Подобие почти божественному действию («в согласном действии и единодушии всех осуществлялось подобие Троицеобразному Богу» – III, 23). Дело-то какое огромное, и вдруг так быстро, оказывается, можно его осуществить, если все вместе, – и выростала вера в себя, в силу

единодушной общности. Мы можем! И восторг! Воздвиглась красота высшая, неутилитарная, священная! И действительно, состояние необыкновенного подъема могло настолько мобилизовать защитные силы организма, что эпидемия отступала, микробы чумы или холеры оказывались бессильны перед этими людьми, наполнившимися радостью и силой. «И преста мор!» – как констатируют это естественное чудо сказания и как заключает Николай Федорович: «В противоположность воззрению *западных* писателей⁶, у нас коллективная деятельность производила не психическую болезнь, а исцеление» (III, 43).

Федоров сравнивал два типа религиозных подъемов: один малоизвестный, русский – построение обыденных храмов; другой западный, о котором много говорили и писали, так называемые ревивали, особенно характерные для американских протестантских общин. Эти «возрождения религии» (Revivals of Religion) провоцировались грозными пророчествами проповедников о вот-вот грядущем конце света, о страшном суде и аде для нераскаявшихся грешников, апокалиптическими настроениями, быстро *заражавшими* религиозную общину (кстати, этому весьма способствовали, отмечает Федоров, «промышленные и торговые кризисы» – III, 42, как это было со знаменитым нью-йоркским ревивалем 1857–1858 годов). Многие продавали свое имущество, закрывали дела, по кличу пастырей, толпами скоплялись в храмах, под открытым небом, проводя здесь по нескольку дней и ночей, почти без пищи и сна, в пении церковных гимнов, в трепещущем ожидании светопреставления. Эту массу народа охватывал какой-то дикий взрыв раскаяния в своей недостойной жизни, выливавшийся в буйные, истерические эксцессы поведения: терзание волос, вопли, конвульсии, ссоры, драки и даже убийства. «Раскаяние переходило в преступление, подтверждая, таким образом, взгляд западных психологов на коллективную деятельность толпы как на психические эпидемии» (III, 43). В случае же строительства обыденных храмов раскаяние находило себе выход в деле, в «усердной, дружной, изумительно быстрой работе» (III, 43) и потому вместо психического неистовства и надлома порождало умиление, восторг, чувство братства.

Тут же напрашивалось сопоставление двух в определенном смысле крайних вариантов храмового зодчества: с одной стороны, строившихся за день-три в сельской, лесной стороне обыденных храмов, небольших по размеру, прижимавшихся к земле, словно охранявших священные останки предков, и с другой – западных готических громад, возводившихся поколениями городских мастеров и ремесленников, устремлявшихся высоко в небо. «Растянутая на несколько веков работа созидания готических соборов не требовала ни наибольшего, ни теснейшего соединения сил, не требовала и высокого подъема, который был необходим для построения наших смиренных церквей» (III, 22). В безудержном готическом порыве ввысь, в этой экзальтации духа, выраженной архитектурно, есть и как бы некий уклон в платоническое отъединение отлетевшей души умершего от тела, от праха, гниющего в земле. В небольшом православном храме, сохраняющем более выраженную антропоморфность, материя словно меньше оторвана от духа, сама освящается. Федоров отметил малость колоколов на Западе, их относительную «безгласность», обличающую, по его мнению, «слабость, незначительность собирательной, объединительной силы этих храмов» (III, 22). «Храмы же обыденные не удалялись, не улетали от праха отцов, а пением и звоном не отлучались и от душ их...» (III, 23), звуча на дальнем расстоянии и призывая к себе.

В 1892 году Россия отмечала 500-летие кончины преподобного Сергия Радонежского; 21 сентября, в понедельник, за четыре дня до юбилейного торжества, от Большого Успенского собора, от храма Христа Спасителя и других соборов и монастырей с хоругвями и иконами под торжественный звон всех московских колоколов и пение псалмов двинулся пеший крестный ход к Троице-Сергиевой лавре. Собственно городской

⁶ «Толпа – это среда, – писал С. Сигеле, – в которой микроб зла развивается очень легко, тогда как микроб добра почти всегда умирает, не находя условий для жизни» (*Sighele S. La foule criminelle. Paris, 1892. P. 65*).

крестный ход, дойдя до Крестовской заставы, вернулся назад, но часть богомольцев, к которым присоединялись люди из окрестных поселений, дошла до конца. По подсчетам того времени, до Пятницкой слободы шло до полутора тысяч человек, затем поток стал уменьшаться, однако все время питаясь новыми пополнениями.

Россия отдавала дань любовной памяти своему великому святому. Мы не знаем, участвовал ли Федоров в этом шествии; скорее всего нет, его ждала, как всегда, ежедневная служба.

Преподобный Сергей занимал совершенно особое место не только в сердце Николая Федоровича, но и в его учении и в конкретных планах его осуществления. Уже в самом названии Троице-Сергиевой лавры означено ставшее нераздельным соединением образа пресвятой Троицы и преподобного Сергия. Еще послушником, спасавшимся в пустыне, Сергей вместе со своим братом Стефаном построил небольшой деревянный храм, первый на Руси посвященный Троице, дабы постоянным «взиранием на Св. Троицу побеждать страх перед ненавистной раздельностью мира». Вся жизнь преподобного представляла, по словам его Жития, составленного Епифанием Премудрым, непрерывное служение пресвятой Троице как «образцу» и «зеркалу» для всех. Божественный первообраз согласия, любви, живоначального единства был введен в христианское сознание России не как отвлеченно-догматический или созерцательный, а как активный образец. Именно так раскрывался для Федорова духовный подвиг св. Сергия Радонежского. Провозвестник *всеобщего дела* следовал в своей мысли по пути, проложенному великим прозрением преподобного. Идеал Троичного бытия Федоров возводил «в закон совокупной деятельности всего человечества, в закон будущей истории», ставил «целью для рода человеческого», призванного устроиться не по типу организма, как сейчас, а по образцу Троицы, осуществив нераздельное и неслиянное всеединство человеческих личностей в полном составе всего рода, в котором все рожденное трансформируется в воссозданное и преображенное, в непрерывное материально-духовное творчество, питаемое любовью. Великий читатель Троицы, идеала не-природного, божественного порядка бытия, Сергей Радонежский был первым святым в пантеоне учения о воскрешении.

В этот юбилейный год Николай Федорович загорается новым проектом: восстановить во дворе Пашкова дома при храме свт. Николая, что на Старом Ваганькове, в котором имелся придел преп. Сергия (сам факт соединения этих двух столь близких ему святых образов, осенявших церковь при Румянцевском музее, глубоко волновал его удивительного библиотекаря!), копию того первого деревянного храма Святой Троицы, который более пяти столетий назад воздвиг преподобный. Более того, осуществить это строительство всем миром, добровольно, по старинному обыденному обычаю. Многие тут сошлось: один дух направлял, по убеждению Федорова, и преподобного Сергия, посвятившего себя служению образцу согласия и единодушия, и строителей обыденных храмов, являвших прообраз восстания из мертвых всеобщим творчески-трудовым, благодатным усилием, – и соединить их вместе в едином действии означало явить нераздельность двух основных идей активного христианства: Троицы и воскрешения. И даже традиционный повод для такого строительства настоятельно стучался в сознание: избавление от страшного голода прошлого года и холерного 1892-го. И вот 13 сентября, за восемь дней до общенародного крестного хода в Лавру, историк и филолог Сергей Сергеевич Слуцкий, человек, приближенный к Федорову, не раз выносивший в печать его проекты, выступает с этим предложением в газете «Московские ведомости», прямо ссылаясь на неких лиц в Музее, задумавших и разработавших этот план (на деле это было *одно лицо*, Николая Федоровича, явно настоявшего на множественном здесь числе). Им же, скорее всего, была проведена та подготовительная работа, о которой сообщалось Слуцким: получено обещание содействия известного специалиста по древней архитектуре в составлении проекта постройки, было подсчитано, что само строительство обойдется в тысячу рублей, что храм, несколько увеличенный по сравнению с оригиналом, будет вмещать до тридцати молящихся. В статье Слуцкого, скрывшегося под буквой «С» с

тремя звездочками писалось следующее: «Но нам подносится идеал, по мере возможности, и не платной работы, и работы во всяком случае единительной, сообразно мысли храма, куда внесли бы дружно, сообща и любовно свою лепту и священнослужитель – молитвой, и ученый зодчий – археологическим трудом и строением, и живописец – кистью, и владелец леса – материалом, и рабочий – трудом одной ночи. Одной ночи, ибо нам мыслится *обыденное* (то есть однодневное) построение этого малого храма» (III, 558).

Этот проект поражал точностью и богатством своего символического смысла, и *высказанного* (Румянцевский музей – «орган памяти» Москвы, и в нем главное – «великое дело объединения России вокруг Москвы» (III, 557), а Москва, тем более в год памяти преп. Сергия, выдвинула бы этим храмом идею единения и саму цель единения – уподобление божественному образцу, да и *обыденный* способ возведения этой великой эмблемы должен был явить тип «святого, подымающего дух, общего подвига»), и *невысказанного*, таящегося в сердце и уме настоящего автора, гигантски расширявшего – как мы знаем – объем и «единения» и «подвига». А вот какие картины вставали уже в предвосхищающей мечте Николая Федоровича, так переданные в статье Слуцкого: «Мне представляется эта оживленная, набожная работа среди тишины ночи, под звездным небом, при чередующихся молитвенных службах (при закладке храма, при воздвижении креста, при поднятии колокола, по уставу); в промежутках между службами, при продолжающейся работе, пение молебнов, ибо, несомненно, многие из московского духовенства пожелали бы принять участие и в этом церковном празднике, и в этом выражении единения науки с верой» (III, 559).

Действительно, пожелали такого дела многие, появились сочувственные отклики в печати, начали поступать и пожертвования (были даже и весьма значительные, в том числе тысяча, достаточная для реализации всего проекта), но власти Музея выдвинули неожиданное возражение технического свойства: как бы деревянный храм не стал источником распространения случайного огня. Доводы пропитать стены храма противопожарным составом не возымели действия, этот проект так и остался, по слову его вдохновителя, лишь «небольшим эпизодом в истории Москвы», эпизодом, однако, чрезвычайно дорогим, значимым для Федорова – столь символически нагруженной была эта так и не осуществившаяся идея. Ее единственно незадолго до смерти, оглядываясь назад и подводя итоги, поминает он рядом с главным Делом: «Проект построения *обыденной* церкви-школы Пресвятой Троицы при Музейском храме двух читателей Пр. Троицы, Николая и Сергия, как памятника празднования 500-летия Преп. Сергия, и даже колоссальный проект объединения всех живущих для воскрешения всех умерших, и завоевания армиею, наемной из всех воскрешенных поколений (коих останки открыты лишь в глубочайших слоях земного шара) всей вселенной, начиная от солнечной системы до тех миров, кои недоступны даже для *сильнейших телескопов* и отпечатлеваются лишь на самых чувствительных фотографических пластинках, – весь этот проект можно рассматривать как *небольшой эпизод* в истории Москвы 90-х годов XIX века, который будет отмечен лишь тогда, когда история не будет ограничиваться изображением *вершин только*, ибо идеал истории – всех признать в большей или меньшей степени историческими деятелями. Будет ли принят этот проект или останется эпизодом, покажет будущее» (IV, 15).

Но Николай Федорович на этом не успокоился; можно сказать, что он начал целое движение за собирание сведений об *обыденных* храмах и их исследование. На следующий год было напечатано «Сказание о построении *обыденного* храма в Вологде» с предисловием Федорова в «Чтениях в Императорском обществе истории и древностей Российских» (1893. Кн. 3; отд. отт.: М., 1893). А еще через год в третьей книге «Чтений...» за 1894 г. появилось воззвание «О доставлении сведений, касающихся *обыденных* храмов и жизни преподобного Сергия». Отдельные его оттиски были разосланы историком С. А. Белокуровым, принявшим активное участие в этом проекте, в редакции

епархиальных ведомостей (во многих из них воззвание было перепечатано) и губернские ученые архивные комиссии, на заседаниях которых оно зачитывалось и обсуждалось⁷. Стали появляться первые отклики: интересные сведения и материалы были присланы священником О. Ребриным, И. Лавровым, Т. Чулковым. И первый личный контакт Николая Федоровича со знаменитым художником В. В. Верещагиным, которого он чрезвычайно ценил, произошел по этому же поводу. Художник был автором нескольких книг – описаний его путешествий; в одной из них, «На Северной Двине» (М., 1895), Федоров нашел интересные сведения о сохранившейся на Цивозере в Сольвычегодском уезде Вологодской губернии «моровой» обыденной церкви Флора и Лавра. Известно, что Василий Васильевич собственноручно сделал кальку с рисунка этого храма и передал ее в музей Николаю Федоровичу. И вот уже «Русский архив» (1894, № 11), журнал Петра Бартенева, публикует статью «Обыденные церкви на Руси. К 500-летию открытия мощей Сергия Радонежского, Миротворца и Избавителя от смут», где Федоров относит уже к 1922 году (на 5 июля этого года падал этот новый юбилей) проект повсеместного построения храмов, посвященных Троице. Здесь Николай Федорович, как бы потерявший надежду на немедленное исполнение своих проектов, изменяет себе и начинает, по обыкновению всех, уповать на будущее, что, как всегда кажется, будет «светлее и прекраснее». Ирония истории всем известна – вспомним положение русской церкви в 1922 году, когда, по мысли Федорова, буквально в каждом городе и селе, при каждой школе должна была возникнуть одновременно церковь единодушия и согласия и музей, создав тем самым школу-храм-музей, синтез научения, веры и исследования...⁸

Какое-нибудь вроде совершенно незначительное событие, совсем не то, о котором кричали столичные газеты и шумели витии, Федоров умел возвести в ранг «всемирно исторического»; он чувствует как бы не слышимое никем, прозревает невидимое, замечает мельчайшие ростки, которые всходят для него предзнаменованием и надеждой. В юбилейном номере «Пензенских епархиальных ведомостей» 1892 года рядом со словом о роли преподобного Сергия в церковной и светской истории был помещен рассказ о том, как в селе Мордовский Качим дети со своими родителями построили совместным, добровольным, бескорыстным трудом церковноприходскую школу⁹. Так и видишь: Николай Федорович берет это издание, читает об этом событии, находит там довольно заурядное его толкование – а сам приходит в состояние особого волнения, даже энтузиазма, и от совпадения этих двух материалов (о Сергии Радонежском и детях), и от самого рассказанного факта, увидев в нем «истинное проявление того духа, который выражался в прежнее время в построении обыденных храмов» (III, 40). Для Федорова в этом случае проявился труд «нравственно-образовательный», смело нарушивший «все законы политической и социальной экономии» (III, 37), противоположный и «бесцельному труду» Золя и «неделанию» Толстого. Он символизирует этот пример в духе своего учения: «Эта быль, т. е. самый факт построения школы соединенным трудом многих, несомненно доказывает, что *тому, что называют толпою*, или сбродом, ничем не выдающихся людей, недостает лишь поприща, недостает великого дела, чтобы стать героями» (III, 38). И тут обнаружился свой герой неписаной истории: крестьянин, «великий мужик», «второй Каразин» Максим Васильевич Меркурьев, сторож Максим Белянин, учитель П. П. Мироносицкий, ставший летописцем события, его отец, священник П. С. Мироносицкий, все отцы и дети, соединенные в «совокупной, согласной работе». Николай Федорович уже мечтает о том, как будет написано сказание об их деле, как оно станет для детей первым воспитательным чтением («вместо всяких Робинзонов» – там ведь «одиночная работа»), как оно встроится не в ту «естественную» историю, где идет постоянная борьба, сдерживаемая лишь юридическими рамками, а в новый путь

⁷ Подробнее об этом см.: III, 606–608.

⁸ О церквах-школах, появившихся в России в конце 1880-х – начале 1890-х годов и о федоровских проектах, углублявших эти реальные инициативы, см.: III, 584–585.

⁹ См. подробнее: III, 596–601.

превозможения своей природы (все вместе, единым бескорыстным порывом одно общее дело делали качимцы, в братском единении двух столь разных племен – *руси* и мордвы).

Федоров видит здесь один из драгоценных ростков тех храмов-школ, соединенных со школами-музеями, которые, по его мысли, должны устроиться в каждом поселении, где есть рождающиеся, учащиеся и стареющие, умирающие, сошедшие в могилу, обращая, по завету пророка Малахии, сердца сынов к отцам, к своему родовому долгу. Вот какие большие концы, самое, казалось бы, конкретно-малое дело и онтологическое – по преобразению своего несовершенного естества каждый раз сопрягает мыслитель: «Соорудив же храм-школу, всякое село получит свою былинку (имеется в виду *быль* по ее сооружению. – С. С.), которая станет началом летописи и истории образования села (местная личностная *воскресительная* история. – С. С.), т. е. большего и большего объединения всех в труде постепенно расширяющегося познания неба (атмосферных и других явлений, познания земли как небесного тела, как звезды) и обращения, таким образом, людей в небожителей в нравственном и материальном смысле» (III, 38).

Федорова волнуют различные конкретные вопросы и дела, которые для него всегда – пусть это до конца не договаривается: не отпугнуть! – открываются в горизонт *всеобщего дела*. Это судьбы народной школы, библиотечного образования, памятников прошлого, музеев, и прежде всего Румянцевского музея. Федоров много и настойчиво говорил и писал о кремлях как о священных крепостях, сторожащих прах предков, и о Московском Кремле в особенности, о необходимости превратить его в обучающую истинному пониманию истории, нашего долга перед ней национальную святыню. Среди других культурных деятелей России Федоров пытался привлечь и художника Верещагина к одному из своих проектов: устроить из Кремля настоящий «воспитательный Музей», для чего, в частности, расписать его стены так, чтобы «были представлены не только прошедшие, но и будущие судьбы мира»¹⁰. Чаще всего румянцевский проектант наталкивался на непонимание или равнодушие. Среди его рукописных отрывков встречаем: «Для нынешних же литераторов и художников, развращенных литературною и художественною собственностью, решительно невозможно коллективное вдохновение» (III, 66). Да, горько! Вдохновенные предложения, в том числе и проекты наружной и внутренней росписи будущих храмов-музеев, чрезвычайно глубокомысленно и подробно исполненные Федоровым, остались на бумаге, но и не воплощенные в жизнь, они стали своеобразной формой наглядного, *иконного* представления его учения.

¹⁰ См. подробнее: III, 580–582, 618–628.